

Альфия Шайхутдинова

*Психология
жертвы, или
Жертвы
психологии*

Гастрономический триллер



Альфия Шайхутдинова

**Психология жертвы, или
Жертвы психологии.
Гастрономический триллер**

«Издательские решения»

Шайхутдинова А.

Психология жертвы, или Жертвы психологии. Гастрономический триллер / А. Шайхутдинова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-748633-4

Гуля — «малообразованная и малокультурная фабричная девчонка». В свои 17 лет она уже потерялась в жизни и благополучно спивается в компании таких же недоучек. Робкая и запуганная девчонка даже помыслить не смеет оказать сопротивление издевающемуся над ней Пупе — совершенно чужому парню, случайно оказавшемуся рядом... Но однажды все меняется. В очередной раз униженная и оскорбленная Гуля решается наконец порвать с ненавистным Пупой...

ISBN 978-5-44-748633-4

© Шайхутдинова А.
© Издательские решения

Психология жертвы, или Жертвы психологии Гастрономический триллер Альфия Шайхутдинова

© Альфия Шайхутдинова, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

– Закрой хлебало, дура, – сказал Пупа. – Когда мужчины разговаривают, бабам лучше помолчать. И вообще, шла бы ты спать, что ли, надоело на твою рожу глядеть.

– Не гляди, – рассмеялась Гуля. Ни на «дуру», ни на «рожу» она не обиделась: в устах Пупы это была почти ласка – он говорил куда более обидные вещи, когда был по-настоящему зол, или когда был по-настоящему пьян, или то и другое вместе. Пока же он выпил немного и был настроен добродушно. «Поговори еще, – буркнул он лениво. – Будешь лишнего пасть разевать, я те сам ее закрою».

Гуля улыбалась блаженно. Пила она наравне с парнями, и ее уже слегка развезло. Хмель приятно будоражил; приятно будоражила и смена обстановки: она с детства не была в деревне. Обычно они зажигали в городской квартире Пупы – в настоящем гадюшнике. Как ни старалась Гуля, в угоду дружку, поддерживать в квартире хоть какой-то порядок, как ни скребла, ни отмывала, ни отчищала вьевшуюся многолетнюю грязь, – не прекращавшиеся в тех стенах пьянки, со всем шиком свойственного хорошей русской пьянке свинства, с удалыми плясками, битьем посуды и мордобоем – сводили на нет все ее усилия. Сегодня они приехали помочь Пупиной бабке сажать картошку; день, проведенный в физическом труде на свежем воздухе, потом – жарко натопленная деревенская баня, сытный ужин под выставленную бабкой бутылку ядерного самогона – все это казалось Гуле необычным романтическим приключением, и она чувствовала себя почти счастливой... Наконец, особенно приятно будоражило присутствие Толика.

На прочих собутыльников Пупы Толик походил не больше, чем эта чистенькая, аккуратная горница – на городскую квартиру-гадюшник. Пил он немного, говорил еще меньше, и ни одного грубого слова Гуля от него не слыхала. Плюс ко всему Толик учился в техникуме – словом, был настоящий интеллигент и выглядел соответственно: всегда опрятный, наглаженный-начищенный, любо-дорого смотреть. Так любо-дорого, что смотреть после него на расхристанного, вечно какого-то замусоленного Пупу иногда просто не хотелось.

Гуля гуляла с Пупой уже несколько месяцев: не потому что он так уж нравился ей, просто такие, как Толик, с ней почему-то не гуляли. Ну конечно, куда ей до них – малограмотной и малокультурной девчонке из фабричной общаги; хотя иногда (как сегодня, например) ей казалось, что, может быть, неспроста так молчалив Толик в ее присутствии... возможно, он даже понимает, что настоящая Гуля может быть совсем не такой, какой кажется, и что рядом с нормальным парнем она сумеет стать той, какой он захочет ее видеть: ведь научилась же она как-то приспосабливаться к требованиям совершенно безбашенного Пупы. Гуля даже подумывала (уж мечтать так мечтать): может, Толик просто побаивается, выдав себя неосторожным словом, вызвать гнев приятеля; опасается, что гнев этот падет на голову девушки, что пострадает в первую очередь именно она...

Выпили еще. За столом они сидели втроем: старушка-хозяйка, немного с ними приняв, давно отправилась поживать. Разгоряченная после бани и самогонки, Гуля раскраснелась, и знала это, и была уверена, что этот искусственный румянец ей к лицу и что Толик, конечно же, это заметил и отметил. Гуля была женщиной, пусть совсем молоденькой, к тому же женщиной крепко поддатой, да еще в окружении двоих мужчин – один из которых был ее женщиной, а второй наверняка не прочь был оказаться на месте первого... Ей хотелось кокетничать, капризничать, быть королевой на этом балу... «Хлеба нарежь», бросил Пупа отрывисто; его тяжелое, угреватое лицо тоже покраснело, и это был опасный признак. Но Гуля, упоенная своей придуманной ролью, опасности не почувствовала. «Сам нарежь, – откликнулась она дерзко. – Тебе ближе».

Пупа поднял голову. Маленькие глазки сверкнули, Гуля струсила и молча подчинилась. Чары рассеялись... почти – но только почти: после следующей рюмки она вновь была очарована и сама хотела очаровывать. Глаза ее блестели – не тем опасным блеском, каким с каждой минутой все чаще сверкали маленькие глазки Пупы, а как блестят, отражаясь в воде, звезды...

– Этой больше не наливаем, – сказал Пупа сквозь зубы. – Она уже бухая.

Вот теперь Гуля обиделась: уж кто бы говорил... Она надменно вскинула голову, потом медленно повернула ее и искоса пристально посмотрела на Толика – неужто он за нее не вступится?

Толик молчал. Как обычно.

– Эй, – сказал Пупа обеспокоенно и пощелкал толстыми пальцами у нее перед носом. – Ты чего?

Гуля опомнилась. Отвернулась от Толика, хотя ее так и тянуло снова на него посмотреть. Если он правда к Гуле неровно дышит, ему сейчас, наверно, тяжелее чем ей. Он же, наверно, ревнует... Он же знать не знает, что и Гуля к нему дышит неровно... ну и пусть поревнует, ему это полезно. Из-под опущенных ресниц она одарила Пупу долгим, глубоким взглядом – но так, чтоб и Толик не мог этого взгляда не заметить. Потом потянулась соблазнительно всем своим крепким, здоровым телом. «Не ерзай, – осадил Пупа. – Глисты, что ли, завелись?»

Гуля вспыхнула. К Пупиной бесцеремонности она давно привыкла, но сейчас ей стало стыдно до слез. Стыдно перед Толиком – и стыдно за Толика: он так и будет пнем сидеть, наблюдая, как об его любимую ноги вытирают?

– Сам ты глиста, – проговорила она дрожащим от слез голосом, с ненавистью глядя на Пупу. Тот поперхнулся, даже закашлялся. «Как сказала? – загудел он, откашлявшись и покраснев еще сильнее. – Совсем больная?» – и начал приподниматься. Если б Гуля спешно покаялась и вымолила прощение – катастрофы еще можно было избежать; но волны хмельной отваги уже захлестнули ее и затянули в свой водоворот. «Толик, – взвизгнула она, отклоняясь, – скажи ему, чтобы меня не трогал!..» – Этого Пупа уже не мог снести. До сих пор он был скорее удивлен, почти смущен, чем возмущен, – теперь же наконец взбесился. «Толик?!.. ах, Толик!.. Я те ща покажу Толика, мымра. Я те такого Толика покажу, бля!» – и, перегнувшись через стол, схватил ее за волосы.

Дальнейшее действие развернулось в считанные минуты. Прямо за волосы Пупа стащил Гулю с места и отточенным ударом в лицо отбросил к стене ее вялое, слабое, даже не пытавшееся сопротивляться тельце. Всего несколько минут назад казавшееся Гуле здоровым, крепким, способным вызвать у случившегося рядом мужчины желание играть этим телом не в футбол, а совсем в другие игры. Теперь, срикошетировав от стены, оно валялось на полу неаккуратной и неприглядной кучкой, которую разъяренный Пупа старательно месил ногами. Гуля тоненько выла; ей было хорошо известно на богатом и печальном опыте, что этот тоненький вой лишь еще больше раззадоривает вконец потерявшего голову Пупу, – но она не могла остановиться:

каждый новый его удар словно включал в ней механический завод, и с каждым новым ударом она рыдала все тоньше, все громче, все жалостливей. «Пшла отсюда! – завизжал наконец Пупа, притомившись. – Иди спать, паскуда, кому сказано было!» – и оттолкнул ее брезгливо ногой, придавая направление. Тоненько подвывая, Гуля на четвереньках просеменила к двери и только там позволила себе встать в полный рост; еще один угрожающий Пупин жест – и она исчезла с глаз долой, удрала в соседнюю комнату, где бабка постелила им обоим.

Заснуть она, конечно, не могла; и не только потому, что мешали возбужденные пьяные голоса, доносившиеся из-за стены (Толик, впрочем, до сих пор все больше помалкивал). Вжавшись в подушку, Гуля поливала ее отчаянными, безнадежными слезами. Ей было безмерно жаль себя, такую несчастную и одинокую, что, кажется, такого просто не бывает – ведь все, кого она встречала в своей короткой жизни, как-то справлялись с тяжелой задачей быть не несчастными и не одинокими... Либо все как один притворяются, делая вид, будто даже не замечают, как страшна и невыносима жизнь, – либо жизнь почему-то только к ней поворачивается лишь самой страшной и невыносимой стороной, – а это ведь еще страшней и невыносимей.. Жалость к несчастной одинокой Гуле так раздирала несчастную одинокую Гулю, что даже физически уже трудно было терпеть. Она извивалась под одеялом и мычала в заливаемую слезами подушку, уже почти не боясь, что Пупа услышит и придет добавить. Особенно донимали, особенно пекли две мысли. Первая: Пупа... если б он действительно приревновал ее к Толику – это еще как-то можно было б перенести, можно было бы как-то понять и принять; но ему-то просто самогона жалко стало, он рюмку самогонки для Гули пожалел – он был готов к чему угодно придраться, лишь бы выгнать ее из-за стола!.. – вот что обидно... И еще обиднее другая мысль. Мысль о Толике, не пожелавшем защитить ее, когда она валялась на полу, избиваемая Пупой...

Даже не обидно. Как она может на Толика обижаться, кто она ему?.. Не обидно – а просто больно. Так больно, словно в легких у нее не воздух, а толченое стекло; словно горящий воск, а не слюну ей приходится сглатывать – так саднит горло; и лицо избитое горит, и соленые слезы разъедают ссадины и ушибы. И никому до нее дела нет, хоть умри она тут прямо сейчас.

Если им до нее дела нет, почему ей до них есть дело? Это, может быть, самый главный вопрос; может быть, это самое главное что ей нужно в жизни понять – не то чтобы специально она над этим задумывалась, просто кажется, что жить было бы чуть легче, если б этот главный вопрос как-то разрешился. Почему в мире нет ни одного человека, который просто не мог бы существовать без Гули – и почему сама она при этом просто не может существовать хоть без кого-нибудь... пусть даже не близкого, родного, понятного, любимого – пусть чужого, который лишь изредка и большей частью спяну может показаться родным и близким...

Так вот нате вам. Ей тоже никто не нужен больше. Ни безбашенный Пупа. Ни равнодушный Толик. Ни подруги, которых у нее почти не было никогда; ни друзья, которых было еще меньше, чем подруг; ни родители, которых она почти не помнит... Никто.

Гуля утопала в мягкой, безразмерной перине, ей казалось – ее душат. «Никто, – бормотала она в подушку, возносясь до всех возможных вершин пьяной патетики. – Никто, никто, никто, никогда», – и в этом бормотании сквозь пьяные слезы все громче звучали озлобление, остервенение, отвращение; даже, пожалуй, омерзение – стоило ей вспомнить, что постель постелена на двоих. Ядреный бабкин самогон вот-вот закончится, и ненавистный Пупа зайвится сюда. И заявит свои права.

В свои семнадцать с хвостиком Гуля не была ни особо целомудренной, ни особо страстной особой. Минуты близости с Пупой, как и с парой-тройкой его предшественников, она скорее терпела, чем наслаждалась ими. А уж в такие мгновения, как сейчас, мысль о его потных

и грубых объятиях ничего, кроме омерзения, вызвать не могла. Ничего, кроме омерзения, она и не вызвала. Пусть бы он вовсе не пришел (Гуля опять размечталась), пусть бы вырубился за столом или еще лучше – под столом. Такое уже случалось. Или... или еще лучше – пусть бы он пришел, а Гулю не нашел. Ни в этой комнате, ни в этом доме, ни в этой деревне... она даже хихикнула, вообразив, как вытянется его неприятное тяжелое лицо, когда он обнаружит клетку опустевшей. Да, здорово; жалко, что это только мечты, претворить которые в жизнь Гуля никогда не осмелится.

Впрочем...

Почему? Почему не осмелится? Кто сказал, что не осмелится?

Гуля села в кровати так резко, что ее замутило и голова закружилась еще сильнее, чем минуту назад. Зато соображала голова проворнее, чем минуту назад; во всяком случае, Гуле казалось именно так. Почему?.. Почему не осмелится?.. Кто сказал, что не осмелится, очень даже осмелится. Кто сказал, что это сложно, это очень даже просто: просто встать. Сунуть ноги в шлепки. Тихонько пробраться в сени, подойти к двери. Тихонько выбраться во двор, подойти к калитке, открыть ее – и оказаться на свободе.

Ее потряхивало от возбуждения, и все-таки она никак не могла решиться. И не решилась... не решилась бы, если б не грела так надежда насолить и досадить Пупе. И Толику, наверно, тоже, или Толику – в первую очередь: что имеем не храним, вот поплачьте-ка, потеряв... Гуля прислушалась. Пупа за стенкой бубнил что-то монотонно, Толик молчал. Как обычно. Если она и впрямь хочет покинуть клетку, ей стоит поспешить.

Гуля встала. Сунула ноги в шлепки. Тихонько пробралась в сени, подошла к двери – и здесь ее ждало огромное разочарование. Дверь оказалась запертой на ключ – и, как ни шарила Гуля судорожно в поисках ключа, найти его ей не удалось. Почти рыдая, она уже готовилась смириться с мыслью о возвращении в клетку – и тут услышала шаги.

Она замерла. Заледенела. Сердце ее колотилось так, что грудная клетка ходуном ходила. Она узнала шаги: это шаркает Пупа, пыхтя и икая; уже идет спать? Сейчас... сию минуту он обнаружит пропажу... как страшно, мамочки, что же делать?

Пупа в спальню не свернул. Его шаги направлялись прямо к ней. В сени. Гуля задрожала. Она скажет... она скажет – захотела в туалет; может, еще обойдется.

Он вошел в сени, тоже пошарил где-то за косяком, нащупал ключ, открыл им дверь и вышел на крыльцо. Гулю он не заметил. Она вжалась в угол, вспотев от страха. Теперь она знает, где ключ; лишь бы ей так и остаться незамеченной. А если не повезет? Если он увидит ее? – обойтись-то, может, и обойдется, в басню о естественных позывах он должен поверить, но с мечтой о свободе и мести на сегодня придется расстаться. И, скорее всего, на будущее тоже: Гуля не слишком рассчитывает, что в ближайшее время опять окажется способной на бунт.

Мощный рокот орошающей землю струи донесся до нее: не прикрыв дверь, пыхтя и икая, Пупа прямо с крыльца реализовывал ее байку о естественных позывах. Его оголенная задница мутно белела в темноте. Это мутно-белесое пятно, этот мощный рокот струи, бьющей в землю, породили в ней новую волну отвращения. Она не сможет заставить себя вернуться; не сможет улечься рядом с ним на безразмерную перину, на которой она в одиночестве-то едва не задохнулась. А уж если Пупа, почитающий себя величайшим любовником всех времен и народов, не встретит в ней должного энтузиазма, дело может не ограничиться вызывающими отвращение любовными игрищами. Он даже вовсе может без любовных игр обойтись, пожертвовав ими ради удовольствия поучить Гулю почтению к его персоне... Даже не успев сообразить – что она, собственно, собирается предпринять, – Гуля мрачной тенью скользнула за его спиной.

Мягкие шлепки ступали почти бесшумно, и Гуля не боялась, что он услышит ее шаги, – она боялась, он услышит, как стучит ее сердце. Но этого не случилось. Судьба, может быть, впервые в жизни обошлась с Гулей снисходительно: она уже спустилась с крыльца и затаилась во тьме, когда Пупа, закончив процедуру, небрежно стряхнул последние капли с предмета своей гордости и неуклюже развернулся. Дверь закрылась, проскрежетал в замке ключ; несколько секунд Гуля еще слышала, как он шаркает вглубь дома – в горницу или спальню, она не поняла, – потом все стихло.

Дрожа с головы до ног, Гуля вслушивалась – и ничего не слышала, кроме собственного сердца, сотрясающего все тело, отбивающего степ уже почти в глотке. Она огляделась неуверенно. Ничего не слышно, кроме бешено отплясывающего сердца, ничего не видно, кроме... да вообще ничего не видно. На расстоянии шага – уже просто глаз выколи как темно. Голова трещала, раздираемая болью зарождающегося похмелья, но Гуля заставила себя припомнить, в какой стороне находится калитка. Сделала несколько осторожных шагов – и угодила в яму, наличие которой в непосредственной близости от крыльца трудно поддавалось объяснению. Гуля и не искала объяснений; переведя дыхание, она из ямы выбралась и продолжила путь. Еще несколько осторожных шагов, и по лицу ее полоснула тяжелая ветка – от неожиданности Гуля едва сдержала испуганный вскрик. Но тут ей снова повезло: луна на минутку выглянула из-за низких туч, осветила забор с калиткой, и Гуля успела скорректировать направление. Опасаясь греметь металлом, калитку открывать она не стала, решив попросту перелезть через забор. Сделать это оказалось сложнее, чем ей представлялось; кое-как она все же добралась почти до самого верха ограды, но в этот момент один из шлепанцев свалился с ее болтающейся в воздухе ноги и шмякнулся по сю сторону забора. Всхлипывая, девушка полезла назад, потом долго, ползая на четвереньках, искала – и не смогла найти.

Это было ЧП. Куда она пойдет в крошечной тьме, босая на одну ногу? – однако вернуться сейчас, когда свобода так близко, она тем более не могла. И, продолжая жалко всхлипать, Гуля снова полезла навстречу свободе. Балансируя на вершине ограды и пытаясь удержаться, она схватилась за что-то подвернувшееся под руку – и едва не взвыла: ее угораздило вцепиться в ветку грандиозной, вровень с забором вымахавшей крапивы. Гуля охнула, уже не сдержавшись, ладонь полыхнула болью, и несчастная девчонка, потеряв равновесие и ориентацию, полетела вниз. Навстречу свободе.

Асимметрия – явление скорее искусственное. Природа, как правило, предпочитает симметричность. Так или не так, но вторая шлепка свалилась с ее болтающейся в воздухе ноги, и найти ее Гуля (после того как весьма солидно припечаталась об землю, каковое приземление сопровождалось сильно обеспокоившими ее звуковыми эффектами) тоже не сумела. Но она уже не всхлипывала. Ничто уже не могло смутить ее перед лицом того факта, что на свободу она таки выбралась.

И, осушив бесполезные слезы, Гуля бодро зашагала босиком туда не знаю куда – поскольку куда и зачем идет, она действительно представляла довольно смутно. Пока что ей было достаточно знать, что она вышла на деревенскую улицу: об этом свидетельствовала мягкая, нагревшаяся за день пыль, ласкающая ее босые ноги. Если Гуля не ошибается (она очень надеется, что не ошибается), эта улица выведет ее прямо к шоссе, по которому привез их сегодня симпатичный маленький автобус. А там, если ей опять повезет, можно поймать попутку; и даже если не повезет – она готова отправиться в город пешком и всю ночь идти по шоссе босиком, но она ни за что не вернется в покинутую клетку, к безбашенному Пупе и равнодушному Толику.

Тишина, ничем не нарушаемая, уютно позванивала в ушах. Деревья молчали, деревня молчала, лишь еле слышный шорох теплого песка, ласкающего ее босые ноги, да трепетание

воздуха, частыми резкими толчками вырывающегося из груди. Весь день было жарко и душно, и начало ночи не принесло пролады. Воздух, мягкий и теплый, как песок, так же ласково обнимал Гулю, и кожа в ответ на эти ласковые объятия покрывалась приятными мурашками. Время от времени сквозь плотный, сизый бархат туч падал на землю хитрый взгляд луны, но случалось это крайне редко: словно луна была правоверной мусульманкой, всерьез озабоченной тем, что ее не зашторенный паранджой светлый лик узрит недостойный. Но постепенно глаза Гули привыкли к темноте. С трудом, но она уже различала тянущиеся справа и слева от нее ряды густо-черных на чуть более светлом фоне, почти сливающихся с окружающей их тьмой избушек, сараев и заборов. То ли деревня была большая, то ли вся она сгруппировалась вдоль единственной улицы, но Гуля шла уже довольно долго – гораздо дольше, чем добирались они втроем от остановки до бабкиного дома. Это-то понятно: они шли утром, при свете солнца, их было трое, и были они еще трезвые... Сейчас Гулю абсолютно трезвой не назовешь, она одна, плюс босая, плюс эта почти непроглядная темень вокруг... конца протянувшимся справа и слева рядом будто и не предчувствовалось, и это все сильнее ее тревожило.

Обратная дорога показалась ей вовсе уж ненормально долгой, а густо-черные на чуть более светлом фоне избы с заборами и напряженная тишина спящей деревни – вовсе уж злоеющими. Если бы измученная девчонка могла еще реагировать на раздражители свежо и остро, – она бы просто удивилась, когда песок наконец закончился и босые ноги ощутили под собой пупырышки асфальтового полотна.

Она вышла на шоссе.

Идти без обуви по асфальту было тяжелее, чем по мягкому песку. Мелкая галька безжалостно впивалась в нежную, непривычную к ходьбе босиком кожу, ступни жгло от неровностей и шероховатостей дорожного покрытия. Но каждый новый шаг, как бы мучителен он ни был, уводил ее все дальше от Пупы – и сознание этого придавало ей сил и бодрости. Она ушла от него, она решила наконец бросить это животное. Она идет в город. Домой. Как она попадет ночью в общежитие, ее не волновало – переночует, если нужно, в подъезде или на скамейке, разве это сейчас важно?..

Гуля поминутно оглядывалась – не увидит ли она взрезающий темноту свет фар, не услышит ли шорох шин по асфальту. Появления машины, могущей оказаться попутной, она жаждала – и одновременно побаивалась, не без того, конечно. Одинокая, растрепанная, полупьяная, устало бредущая в ночи, она представляла собой легкую добычу для любого искателя приключений. И денег у нее не было – да если б и были, разве могли они ее защитить?

Но не идти же и впрямь пешком до города... Гуля оглядывалась все чаще.

Первоначальное ее намерение добираться, если придется, на своих двоих было, конечно, верхом безумия: они на автобусе-то полтора часа тряслись; в связи с этим в мыслях Гули произошел новый поворот. Истерзанные ступни так саднили, измученные икры так ныли, что она вынуждена была принять решение, не делавшее чести ее моральным устоям – но в данной ситуации совершенно, на ее взгляд, оправданное: если за рулем машины (которая должна же когда-то появиться) и окажется любитель сомнительных дорожных приключений, – она не станет строить из себя недотрогу. Она расплатится за проезд, как издревле повелось, и, пожалуй, даже посчитает такую сделку выгодной для себя. Гуля закаленная: любой мужик, который будет не Пупой, может отличаться от Пупы только в лучшую сторону. Уж коли так долго она способна была сносить его любовные игрища вперемешку с побоями, несколько минут с мужчиной, отличающимся от Пупы в лучшую сторону, она тем более как-нибудь выдержит.

Но машины не показывались. Проехала одна, да и та навстречу (Гуля на всякий случай спряталась за каким-то деревом: помочь ей все равно не поможет, зачем зря рисковать).

Были у нее часики, дешевая китайская штамповка, но батарейка села еще с вечера. И теперь Гуля представления не имела, сколько длится ее путешествие, – знала только, что долго, очень долго, просто мамочки как долго. Духота все не спешила рассасываться, а вот тишины уже не было слышно. Что угодно было слышно, только никак не тишину. Зашумели, заговорили скудные сутулые деревья по обочинам трассы. Еще более сутулые, еще более скудные кустики откликнулись охотно и еще более говорливо. Первых порывов свежеего ветра Гуля не заметила, но очень скоро он окреп, возмужал, заматерел – и потребовал ее внимания. Ветер кусал ее, он трепал и путал ее и без того спутанные и растрепанные волосы, швырял ей в лицо пригоршни своей бездумной силы, словно это был не ветер, а Пупа. Минутами ей так и казалось, что это не очередная порция воздуха летит ей в лицо, а знакомый кулак. И она по привычке даже не пыталась уклониться от удара. Где-то далеко надсадно рычал, пробуя силы, гром, и со следующим ударом ветра на лицо ей упали несколько мокрых, обжигающе-холодных капель.

Начинался дождь. И не просто дождь, а хорошая летняя гроза.

Гуля поежилась. Повертела башкой затравленно: ну за что они все с ней так? Все и всегда – за что они так с ней? Что плохого и кому успела она сделать за свою коротенькую жизнь?..

Она еще держала себя в руках, пока ливень не хлынул сплошным потоком. И когда ливень хлынул потоком, она тоже еще держалась. Точкой кипения для ее нервов стал момент, когда раскаленный зигзаг молнии, ослепивший Гулю, с края до края пропорол темное месиво туч, беременных тоннами влаги. Она содрогнулась – и парой секунд позже содрогнулась снова, уже вместе с землей, эхом откликнувшейся на грозные арпеджио столкнувшихся в ярости воздушных масс. Молнии сверкали не переставая, не переставая гремел гром. Ливень хлестал потоком – и потоком хлестали слезы из глаз; стекая по лицу и попадая в рот, они теряли соленый вкус, щедро разбавленные дождевой водой. Все вокруг было ненадежным, обманчивым, призрачным, таившим в своих глубинах семена измены и предательства: привычная с детства земля, грозившая расколоться под ногами, привычное с детства небо, грозившее расколоться над головой. Гуля не просто до нитки промокла, и даже не до мозга костей – до самой своей сердцевинки, до каждой клеточки содрогающегося вместе с землей и небом тела, и до каждого ядрышка каждой клеточки, и до каждого атома каждого ядрышка, и до каждого ядрышка каждого атома, и так вплоть до квантов и кварков – и вплоть до кварков и квантов продрогла она и иззябла; она не верила уже, что всего пару часов назад изнывала от жары и духоты. Набывчившись, голыми ногами по щиколотку в холодной колючей воде, маленькой Ниагарой устремившейся навстречу (да что там – «по щиколотку»; холодные колючие Ниагары, изрыгаемые небом, накрыли ее с головой), Гуля продолжала влачить себя, словно тяжкое бремя, вперед: не из геройства и не из упрямства, но в силу смутно сознаваемой потребности делать что-то, имеющее видимость осмысленной деятельности. При том, что реально в ее положении двигаться вперед имело не больший смысл, чем, скажем, улечься в лужу и постараться заснуть... Разверзлись хляби небесные, и земные хляби разверзлись, и жалкую, потерявшую голову девицу заклинило между ними. Чувства ее почти совсем отказали, и она не видела взрезающий темноту свет фар и не слышала шорох шин по асфальту, пока, разбрызгивая лужи, рядом не затормозил автомобиль.

Гуля все не могла поверить своей удаче. Она ерзала на заднем сиденье, по-кошачьи отряхиваясь и отфыркиваясь, и то и дело поглядывала вперед, на приютивших ее добрых самаритян. Самаритян было двое, мужчина за рулем и с ним женщина, чем-то неуловимо на него похожая – чем-то, что, в свою очередь, походило на клеймо высокой пробы, тайный знак при-

надлежности к высшим кастам человечества. Дело не в автомобиле (снаружи Гуля машину не разглядела, но внутри все просто кричало, что судьба усадила ее в дорогую и престижную иномарку), и не в густом, одуряюще-тяжелом запахе роз, заполнившем салон и исходившем, судя по всему, от длинных светлых волос женщины; дело и не в шмотках: одеты самаритяне скорее с легкой богемной небрежностью, чем шикарно или супермодно. Мягкая, чуть потертая вельветовая куртка на нем и застиранная джинсовая рубашка – на ней. Просто такой гордой, львиной посадки головы, как у красавца Виктора, и такого прямого стана, как у хрупкой Зои, у плебеев не бывает... – вряд ли Гуля об этом догадывалась, но чутьем маленького зверька угадала, что оказалась в компании аристократов, стоящих на социальной лестнице неизмеримо выше ее, совершенно необычных людей – да как будто и не людей, а просто инопланетян каких-то. Оба, правда, были уже в годах. Тридцать, сорок или даже пятьдесят – всех, кто успел заменять второй четвертной, Гуля автоматически относила к разряду пожилых людей. В темных, тоже длинных – до плеч – волосах Виктора посверкивали лунные блики седины, и это очень шло ему, – он выглядел познавшим жизнь и пресыщенным жизнью эстетом, светским львом, ловеласом. Он был великолепен. И в лучах его великолепия мигом размылся ореол «интеллигентности» вокруг предателя Толика, и сам Толик путем каких-то хитрых манипуляций девичьего сознания был низведен до уровня бесчисленных и неотличимых друг от друга пупообразных – презренных членистоногих, не стоящих даже собственного внимания... непостоянство, твое имя – женщина.

– Мон анфан...

Гуля, разумеется, представилась тоже. Но Виктор не был бы Виктором, если б держался торных путей. Он обращался к ней исключительно на «вы» (это к ней-то! – Гуля просто обалдела) и называл ее непонятно-пугающе-сладко: «Мон анфан». То есть сначала непонятно было, потом Зоя, вынырнув на миг из задумчивой меланхолии, пояснила с улыбкой: «Не пугайся, это не ругательство. Это значит всего лишь: «Дитя мое...»

– Мон анфан, я вынужден вас огорчить. Вы не поверите, как мне самому тяжело говорить то, что приходится сказать, но мы не едем в город. У нас тут небольшой коттедж неподалеку; километров через пять я должен буду свернуть.

Гуля открыла рот, глаза моментально наполнились слезами. Так и знала она, что не могло ей так баснословно повезти!..

Заметив ее реакцию, Виктор смутился.

– Ну, не стоит так переживать. Мудрые говорят – безвыходных положений не бывает; мне, признаться, очень импонирует такой подход к жизни. Может, попробуем пораскинуть мозгами все вместе и что-нибудь придумать?

Гуля была убита горем. Что она может придумать? И что могут придумать добрые самаритяне – не настолько ж они, надо думать, добрые, чтоб пожертвовать покоем и бензином и пуститься в долгий путь ради незнакомой девчонки?

Зоя с Виктором переглянулись. Обоих осенило одновременно. «Стоп», сказал Виктор – а Зоя уже говорила, как всегда, меланхолично: «Может, Гуля погостит у нас сегодня?» – и он поддержал с готовностью: «Ну конечно, это будет лучшее решение. А завтра я сам посажу ее на автобус.»

О таком она и мечтать не смела. Не просто не смела – ей в голову не пришла бы столь дерзкая мечта. «Вы... по правде?» – спросила она робко, краснея и бледнея попеременно. Виктор повернулся и посмотрел на нее так, будто она сморозила несусветную глупость. «Безусловно. Хотя, конечно, последнее слово остается за вами. Итак?..» «Спасибо», пролепетала Гуля едва слышно – но он услышал.

– Спасибо да или спасибо нет? – он был само терпение. – Определяйтесь, дитя мое, мы уже у поворота. – Гуля, в изумлении и восторге, почти простонала: «Да.»

Виктор вывернул руль. Автомобиль вывернул с шоссе.

Он сказал «неподалеку», однако еще с полчаса им пришлось петлять по путаным проселочным дорогам, чавкая резиной в засасывающей грязи. Но Гуля не скучала. Инопланетянин Виктор ее очаровал; а уж когда выяснилось, что инопланетянка Зоя приходится ему не женой и не дамой сердца, а родной сестрой, – Гуля окончательно влюбилась в обоих. Гуля – не самая умная в мире женщина, но и своим скудным умишком она понимала: ничего ей тут не светит, ничего не обломится, и вниманием Виктора к ней она обязана лишь его воспитанию и хорошим манерам. Но горечь понимания словно прибавляла острую терпкую капельку к пряному очарованию этого нечаянного знакомства, этого мимолетного общения, этой обреченной на скорое расставание встречи... Возбужденная Гуля трещала не умолкая – и кляла себя за это: самой-то ей куда приятней было бы послушать Виктора, наслаждаясь и упиваясь его сочным густым голосом; но остановиться не могла – ее несло; и прошло какое-то время, пока она поняла – почему. И брат, и сестра внимали ей с таким неподдельным участием, что Гуля, давно не встречавшая проявлений интереса к своей персоне, расплелась. Они слушали молча, лишь изредка вставляя ободряющее словечко и еще реже – перекидываясь тем понимающим взглядом, каким они обменялись, когда решили пригласить Гулю в гости. И очень скоро Гуля забросала слушателей такой массой важных и второстепенных биографических подробностей, что ей самой-то впору было в них запутаться. Только слушатели, судя по их редким, но заинтересованным репликам, запутать себя не дали и отлично в этом лабиринте ориентировались. Они откровенно поощряли ее к продолжению монолога, а польщенная Гуля рада была стараться – и не заметила, как пролетело время в пути.

Виктор гремел воротами перед рылом застывшего на месте автомобиля, в недрах которого Гуля заканчивала свое безрадостное повествование. Воспользовавшись его отсутствием, она пустилась уже в такие откровения, что гордую аристократку, наверно, удар должен был хватить на месте, – но Зоя лишь кивала с тем же участием и, подводя итог, мягко положила руку на девичье плечо: «Успокойся, малыш. Теперь все будет хорошо...» И Гуля поверила ей, поверила сразу и безоговорочно. Она знала, что именно так теперь и будет – хорошо или даже лучше, чем хорошо. Пусть знакомство случайно, пусть общение мимолетно, а встреча обещает скорую разлуку, – она знает, эта встреча оставит след в ее жизни, неизгладимый и незабываемый, и в новую, непонятно-пугающе-сладкую сторону развернет эту жизнь, лишенную до сей поры смысла и цели... И за этот грядущий разворот Гуля была заранее так благодарна, что в уголках ее глаз опять зарождалась, щипая роговицу, соленая влага... Только теперь и эти соленые слезы казались ей сладкими.

Впереди, на крыльце, крошечным солнцем вспыхнула лампа. Зоя вышла, и Гуля вышла следом – и в ноздри ей ударил аромат роз, еще более плотный и одуряющий, чем запах в машине, к которому она уже притерпелась. «Розарий», – кратко пояснила Зоя, перехватив ее удивленный взгляд, взяла Гулю за руку и отправилась с ней к дому. Виктор в это время вернулся к машине, чтобы поставить ее в гараж.

«Небольшой коттедж», он сказал, и это оказалось так же далеко от истины, как его «неподалеку». Ни хрена себе «небольшой». По представлениям Гули, если и можно так об этом домине выразиться, то только с поправочкой: «небольшой дворец», например. Как и в случае с автомобилем, Гуля не успела удовлетворить свое любопытство, пока стояла снаружи. Зато холл, в котором они очутились миновав прихожую, сразил ее наповал. Здесь легко могли разместиться несколько комнатушек из ее общаги, а таких высоких потолков Гуля еще никогда

не видела. Но больше всего поразила ее пустота: в холле не было ничего. Абсолютно ничего, если не считать развешенных по стенам картин; ну, картинки – они картинки и есть, какая от них польза?.. Ее слегка задела такая расточительность, – если б Гуля (в мечтах или во сне) оказалась хозяйкой этого маленького дворца, у нее ни один квадратный сантиметр не пропал бы так бездарно...

Зоин оклик вывел девушку из прострации, и она послушно дала увести себя на второй этаж по деревянной винтовой лесенке. Лесенка заканчивалась площадкой, от которой расходились веером резные двери. «Здесь у нас столовая, – сказала Зоя тоном заправского экскурсовода. – Или, скорее, столовая и гостиная в одном флаконе, за дефицитом полезной площади... – Последние слова и особенно извиняющийся тон, которым они были произнесены, рассмешили Гулю. – За столовой – кухня.» Гуля удивилась: она полагала, что кухня и прочие подсобные помещения должны бы находиться внизу. А Зоя продолжала хвастаться: «Есть еще Витина мастерская, она на первом этаже.»

– Мастерская? – Гуля опять удивилась. Она честно попыталась представить Виктора за верстаком, но не смогла. «Витя – художник. Настоящий художник», – слово настоящий Зоя особо выделила, и в ее голосе зазвучали нотки благоговения.

Ну, конечно. Гуля и сама могла бы сообразить (ну это уж вы, мон анфан, своей проницательности явно льстите). Нет, правда: представить Виктора художником было куда проще, чем ремесленником за верстаком; он и выглядел так, как, по мнению Гули, должен выглядеть «настоящий» художник: длинные волосы, мягкая куртка, изящные и сильные кисти рук... Теперь она уже жалела, что проигнорировала картины в холле.

– Какая ж я бездарная хозяйка, – спохватилась хозяйка. – Ты же у меня вся мокрая. Пойдем в столовую, Витя разожжет камин, а я принесу тебе что-нибудь переодеться.

Так и сделали, и через пятнадцать минут Гуля уже кейфовала, оседлав кресло-качалку и кутаясь в барский бархатный халат. Этим шедевром легко было укутать двух Гуль или трех Зой, и Гуля наслаждалась догадкой, что ее кожи касается ткань, совсем недавно, вероятно, так же нежно ласкавшая Настоящего Художника (тот-то был покрупнее их обеих). Настоящий Художник между тем, разобравшись с камином, удалился в сторону кухни. Где, как быстро догадалась даже не слишком догадливая Гуля, располагалась вторая его «мастерская», священнодействовать в коей доставляло Настоящему Художнику едва ли не большее наслаждение, чем работать в «настоящей» мастерской...

Картины украшали и стены столовой: три стены, если точнее – четвертая вся была застеклена, обратившись сплошным окном. За которым сейчас темнела беззвездная ночь (гроза почти закончилась, и глухие ее раскаты доносились уже издалека). Кажется, здесь картины теснились даже кучнее, чем в холле – если такое вообще возможно, – но теперь это вызвало у Гули не досаду, а снисходительную улыбку. Согревшись наконец, она повернулась к Зое, о чем-то задумавшейся: «Можно посмотреть?» – та, взглянув удивленно, пожала плечами: «Конечно.» Гуля затянула пояс халата и встала.

В комнате царил полумрак: верхнего света Зоя не зажигала, засветив лишь несколько свечей в тяжелых бронзовых канделябрах. Их ласковый свет мешался с отблесками гудящего в камине пламени, создавая атмосферу одновременно уютную и изысканную, – но для того чтоб хоть что-то разглядеть, Гуле пришлось подойти почти вплотную. Первой ее внимание привлекла, естественно, «настоящая» картина, каких здесь было в общем немного, – большое, писанное маслом полотно в массивной золоченой раме. Натюрморт. Причем такой натюрморт, что при одном взгляде на него у Гули тихо застонало что-то в животе (когда она ела в последний раз? Несколько часов назад – бабкины щи, а кажется, это было в прошлой жизни). Художник изобразил крытый узорной малиновой скатертью с бахромою стол, на котором расставлены были в кажущемся беспорядке: тяжелые бронзовые подсвечники (явно родственники тяжелых

бронзовых канделябров в столовой) с горящими в них свечами, создающими уютную и изысканную атмосферу; еще более тяжелые и солидные вазы, наполненные фруктами – крупные кисти черных и изумрудно-зеленых виноградин, солнечные вспышки апельсинов и персиков с абрикосами, золотистые яблоки, на глянцевых боках которых Гуля, приглядевшись, разглядела даже капельки влаги; – да она даже запах чувствовала этих почти ненатурально живых плодов, настолько натуральными они казались!.. Была еще пара других ваз, хрупких и изящных, и в хрупких изящных вазах пламенели розы (вот уж совсем не удивительно, что и их запах она тоже явственно ощущала: розами-то здесь просто провоняло все); было множество мелких тарелочек – с хлебом, с икрой, непонятно с чем... и было еще большее множество нарядных рюмочек и бокалов, и несколько еще более нарядных бутылок. Наконец, в центре стола на почетном возвышении было воздвигнуто металлическое блюдо, в котором с тою же нарочитою небрежностью свалены были в кучу пантагрюэлевские ломти хорошо прожаренного, сочного, дымящегося мяса... – Само собой, их дразнящий аромат растревоженное обоняние Гули тоже уловило, и желудок ее опять застонал и запел. Дверь растворилась; дразнящий аромат жареного мяса стал заметно интенсивней – и она поняла, что волшебная сила искусства тут ни при чем: мясо жарилось на кухне, отделенной от столовой лишь одной стеной. Овеваемый этими провокаторскими ароматами, вплыл в комнату Виктор, толкая перед собой почти игрушечный хромированный столик на колесиках

– Зиг хайль, девочки, – провозгласил он, сам в это время проворно продвигаясь в затемненный угол комнаты. Клацнула зажигалка, и Гуля ахнула: хозяин привычным жестом затеплил одну, другую... третью, четвертую – всего шесть свечей, по три в каждом из тяжелых бронзовых подсвечников (явных родственников уже задействованных канделябров и явных близнецов тех, что Гуля видела на привлекшей ее внимание «настоящей» картине). Размещались подсвечники на столе, крытом узорной малиновой скатертью с бахромой, тут же предстала перед Гулей пара хрупких изящных ваз с пламенеющими в них розами. Виктор ловко расставил меж ними несколько других ваз, тяжелых и солидных, заполненных почти ненатурально живыми в свете свечей фруктами. Появились, в порядке живой очереди, и тарелочки-розетки, и фужерчики-бокальчики, и Гуля уже замерла, с удовольствием предвкушая появление нарядной бутылочки – и точно: именно нарядную бутылку водрузил напоследок на стол Настоящий Художник. И – опаньки – еще одну... и лишь после этого, развернувшись к дамам, театрально вскинул руку: «Прошу!»

Гуля смутилась. Халат на ней, конечно, шикарный... но чтобы быть достойной усесться за такой стол, она, наверно, должна быть одета в вечернее платье?.. – Она кинула украдкой взгляд на Зою. Та не мучила себя подобными глупостями и спокойно откликнулась на приглашение брата. Гуля почти заставила себя последовать ее примеру.

Как оказалось, это была только прелюдия.

– Вы тут располагайтесь, как вам удобно, – мурлыкал Виктор, разливая вино. – Думаю, через полчаса я смогу угостить вас посолиднее... Ну, со знакомством? – Он тепло посмотрел в глаза растерявшейся Гуле и протянул бокал, согретый его руками. – Весьма рекомендую: настоящее «Сансер Убер Брошар» (очень, видно, оба они любили слово «настоящее»). Начинать трапезу хорошим виноградным вином – конечно, сухим и, конечно, белым – верная гарантия, что аппетит вас не подведет. Убежден, что подобного вина вам, дитя мое, пробовать не доводилось.

Гуля же была убеждена, что аппетит не подведет ее при любом раскладе. А последняя его фраза, в которой она уловила намек на разделявший их социальный барьер, заставила ее вспыхнуть – так, что она сама почувствовала, что краснеет, и растерялась еще безнадежней. Однако пить для храбрости ей не в новинку, а уж коли Виктор сам предлагает ей выпить – она не шокирует его, всего лишь послушавшись... однако ей пришлось еще потерпеть.

– Можно тост? – спросил Виктор, словно ему действительно требовалось разрешение. Гуля только успела подумать, что уже озвученный тост «со знакомством» ничуть не хуже любого другого, – а он уже начал декламировать:

...Я же скажу, что великая нашему сердцу утеха
Видеть, как целой страной обладает веселье; как всюду
Сладко пируют в домах, песнопевцам внимая; как всюду
Рядом по чину сидят за столами, и хлебом и мясом
Пышно покрытыми; как из кратер животворных напитков
Льет виночерпий и в кубках его разносит...

– и, как на сцене, высоко поднял свой «кубок», призывая их присоединиться к нему. Гуля присоединилась, недоумевая: и это у них называется «тост»?

– Что это? – не сдержалась она.

– Гомер, – охотно откликнулась Зоя, и Виктор еще охотнее поддержал: «Гомер, „Одиссея“. Песнь девятая... Onorate l'altissimo poeta.»

Гуля смотрела на них почти с ужасом. Они, может, больные оба? Или действительно основная их цель – почаще и побольнее ее уколоть, показав, указав, доказав: ты, девочка, и впрямь возомнила, что можешь быть с нами на равных? Да ты же, дурочка, просто чмо, срань болотная, как посмела ты хоть возмечтать на минутку?.. Она снова была готова плакать, и надо же какой конфуз еще, какой позорный промах она совершила: брат-то с сестрой выпили по глоточку и явно не собирались убыстрять темп поглощения этой кислятины, а у нее бокал уже пустой стоит. Она испуганно открыла рот, чтобы что-нибудь сказать в оправдание (сама не зная что), но Виктор помахал рукой успокаивающе и снова наполнил ее посуду. «Рад, что вы оценили», сказал он, значительно приподняв бровь.

Что ж, впредь она будет умнее.

– Зоя, – сказал Виктор, прежде чем снова их покинуть, – ты бы заняла Гулю чем-нибудь. Что ж вы тут скучаете, как сиротки. – И Гуле: – Как вы относитесь к фортепианной музыке, дитя мое?

Гуля не знала, как она относится к фортепианной музыке, – но на всякий случай кивнула. Виктор обрадовался: «Замечательно. А Зоя замечательно играет, и рояль у нас тоже замечательный – настоящий кабинетный „стейнвей“, вы еще не обратили внимание?»

Она еще не обратила внимание. Но опять кивнула. На всякий случай. С одной стороны, ей немного надоело, что они оба все время как будто хвастаются; с другой... ну, если б у нее был настоящий кабинетный этот самый и все, что есть у них, – она бы тоже, наверно, хвасталась? Но главное... что главное? Ах да. Главное то, что сегодня ей, как Золушке, выпал шанс приобщиться к жизни тех, кому есть чем хвастаться. И дура она будет, если не воспользуется этим на самую-самую полную катушку.

Зоя легко поднялась. Проществовала к кабинетному чуду, поместила себя на вращающийся табурет (еще одно чудо, надо полагать), откинул крышку рояля, откинула назад свой патрицианский стан – и посмотрела на Гулю.

«... Любите ли вы Брамса?» – спросила она лукаво.

Гуля затрепетала. Хотела она того или не хотела, сознавала или нет – ей вновь почудилось в воздухе дрожание гнусного намека на ее плебейство. Однако Виктор уже знакомым движением руки успокоил ее: «Всего лишь литературная реминисценция, – сказал он с легкой досадой. – Если, конечно, мы вслед за Зоей поспешим причесть мадам Саган к светлому лику литературы...» – и Гуля поняла, что объектом досады служила не она. А Зоя. И, нужно признаться, это открытие подарило ей минутку мстительной удовлетворенности.

Зоя повела плечами. Виктор вышел по своим кулинарным делам.

– Брамс, – сухо объявила Зоя. – Пятый венгерский танец, – и с силой затарабанила по клавишам, куда Гуля уныло прикидывала: сколько еще венгерских танцев ей предстоит выслушать. Кой черт дернул ее кивать в ответ на вопрос о ее отношении к фортепианной музыке...

Она приблизилась к столу, схватила свой бокал (прихватив заодно совсем смешной, крошечный бутербродик) и, попивая по глотку кислятину – бутерброда, оказавшегося необыкновенно вкусным, как раз на один глоток хватило, – возобновила свое знакомство с шедеврами местной картинной галереи. Все «настоящие» картины (еще два или три обрамленных холста) оказались натюрмортами, выполненными все в той же старой доброй манере; каждый из них Гуля обстоятельно изучила, каждым добросовестно восхитилась – и каждый вызвал очередное цунами в ее желудке. Чтобы не отвлекаться на посторонние эмоции, она сделала перерыв и желудок немного заполнила: яблоки и абрикосы полетели в него вперемешку с необыкновенно вкусными крошечными бутербродиками. И на этом фоне кислятина в ее бокале тоже казалась ей уже почти вкусной. Правда, она быстро кончилась, а проявить инициативу в этом вопросе Гуля постеснялась; ее храбрости хватило лишь на то, чтоб плеснуть ледяной минералки из хрустального графина. Зоя не обращала внимания на ее маневры, продолжая самозабвенно бить по клавишам. Играла она действительно мастерски, хотя темп, выбранный ею, самому Брамсу скорее всего показался бы уж слишком залихватским.

Заморив червячка, Гуля перешла к офортам, эстампам, небольшим акварелям, эскизам, сделанным тушью и в карандаше, собрание которых и представляло основные фонды галереи. Это были уже портреты – в основном и в первую очередь, – но гастрономической теме Настоящий Художник не изменил. Хотя даже двух-трех из этих портретиков, пожалуй, хватило бы, чтоб не самый зверский аппетит взять да и отбить... Куда бы Гуля ни кинула взгляд – он втыкался в упоенно вкушающих пищу людей, коих и людьми-то называть не хотелось; к черту «упоенно вкушающих» – едящих, жрущих, употребляющих, питающихся, нажирающихся, хавающих, наворачивающих... Каждое лицо было так искажено, каждая пара глаз сверкала такой мерзкой маслянистостью... каждая длань, устремившаяся к пище, была так сладострастно скрючена, словно едоки не предавались самой безобидной и естественной страсти, а отправляли некий сатанинский ритуал. Это были люди, и талант рисовальщика особо проявился в том, как неустанно и настойчиво, любым отдельно взятым штрихом, нюансом, деталью – точно выписанным рисунком мышцы, верно схваченным движением – подчеркивал он принадлежность этих гротескных существ к человеческой породе. Однако, несмотря на это (и, похоже, в полном резонансе с основной задумкой мастера), общее впечатление серия мини-портретов оставляла совершенно однозначное: стая свиней, в едином порыве столпившихся у корыта с баландой. Солидные, матерые хряки, почтенные матроны-свиноматки, агрессивно-настороженный половозрелый молодняк и молочные поросята с бессмысленно-блаженным, идиотическим оскалом невинной младенческой улыбки, – всяк нашел свое место в этой странной и смрадной мозаике, всякий послушно занял отведенную ему нишу на празднике поклонения Его Величеству Брюху... Гуля, хвала богам, никогда не была излишне тонкой штучкой, и аппетит ей картинки не отбили, – но даже ей стало неприятно, и она молча вернулась в кресло-качалку перед гудящим пламенем. Вернулась и отдалась мрачному созерцанию длиннохвостых рыбок в аквариуме рядом с камином.

Зоя оторвалась от Брамса и снова посмотрела на Гулю. «Малыш, – сказала она виновато, – тебе, наверно, больше по душе легкая музыка...» Возможно, ее задело неприкрытое равнодушие девушки к ее таланту пианистки, но Гулю это мало парило: она приободрилась. Конечно же, легкая музыка ей больше по душе. – Зоя уже возилась с роскошным центром, снабженным мощными колонками. «Имре Кальман», возвестила она, на что Гуля лишь бурк-

нула: «Иностранных певцов я не люблю...» – зная уже, что ее робкий протест не будет принят во внимание. Так и случилось. «Кальман – композитор, – возразила безмятежно Зоя. – Петь будет Шмыга...» И Шмыга запела.

Кто бы мог ожидать, что в качестве «легкой музыки» сестра художника навяжет Гуле оперетту. Но Гуле не пришлось разочароваться; ведь что такое, по сути, оперетта, как не добротный классический попс: яркий навязчивый мотивчик, незатейливая рифма, поверхностные радости и страдания – едва ли не намек на настоящее чувство, но такой намек, какого подготовленному слушателю вполне достаточно.

Понемногу утихает карнавал ночной.
Разноцветные погасли фонари.
Разодетая толпа уже спешит домой,
Лишь влюбленные гуляют до зари.
Солнца луч чуть золотит бульвар
И поток влюбленных пар...
Новый день уже спешит,
Задорной песенкой звучит
И зовет меня к возлюбленной моей...

«Э-эй!!!» – мощно и долго вывела королева оперетты, торжествующе перепрыгнув на квинту вверх, и повторила еще громче и торжественней, сотворив обратный прыжок – квинтой вниз: «И зовет меня к возлюбленной моей!!!...»

Первые музыкальные фразы – «разноцветные» да «разодетые» – не вызвали отклика в сердце Гули. Но образы гуляющих до рассвета влюбленных пар и возлюбленного, по зову нового дня спешащего к возлюбленной, тонко срезонировали с ее романтическим настроением; какой семнадцатилетней дурочке эти и им подобные образы не представляются единственными достойными внимания?.. – Она мерно покачивалась в кресле, и отблески огня покачивались перед ее неплотно закрытыми глазами, а перед внутренним взором так же мерно покачивались видения, в содержании коих Гуля даже самой себе не посмела бы признаться. А королева оперетты продолжала заливаться, будто вполне уверенная, что уж это-то юное сердечко завоевать проблемы не составит:

Карамболина...
Карамболетта... —
Ты пылкой юности мечта.

Карамболина...
Карамболетта...

– тут Гуля отвлеклась на несколько секунд: под веками неприятно зачесалось; она бросила вороватый взгляд на Зою, отвернулась и, тихонько шмыгнув носом, вытерла повлажневшие глаза.

Карамболина...
Карамболетта...
Ты сердце каждого пленишь.

Карамболина,

Карамболетта,
У ног твоих лежит блистательный Париж!.. —

– завершила льстиво примадонна, и Гуля опять шмыгнула носом. От усталости, от съеденного и выпитого, от мерцающих в полумраке огней и чувствительной песенки ее разморило и потянуло в сон, и очень скоро она носом уже не шмыгала, а клевала. Сквозь приятную дурноту с трудом пробивалось задорное сопрано: «Здесь свиданье – и уже роман... ничего, что пуст карман... здесь в чести любой поэт, и не беда, что денег нет – расплатиться можно песенкой своей... – Ээй!!! – И ее подхватят тысячи друзей!!!...»

Карамболина...
Карамболетта...

– Гуля мерно покачивалась, и покачивались отблески огня перед глазами, и так же мерно покачивались перед внутренним взором видения, в которых влюбленный нищий поэт оказывался почему-то вполне обеспеченным художником, тоже, однако, в кого-то влюбленным... – Дверь опять растворилась, и Гулю из дремоты как веником вымело. Явился Виктор со знакомым игрушечным столиком, от которого во все стороны, как круги по воде, расходились провокационные ароматы. Пахло настолько аппетитно, что на сей раз Гуля не стала дожидаться приглашения и без церемоний уселась на свое место. Зоя приглашения тоже не ждала: небрежным щелчком оборвав задорное сопрано, она составила Гуле компанию. Вопреки ожиданиям Гули, Виктор не стал перетаскивать на большой стол две тяжелых посуды (в одной – основное блюдо, в другой гарнир), а сразу разложил по тарелкам то и другое, расставил наполненные тарелки и промурлыкал: «Бонапети» (даже Гуля поняла, что он желает им приятного аппетита). Снова наполнил бокалы из нарядной бутылки: уже из другой, с вином темно-рубинового цвета (настоящее «Мерло», между прочим). «Второй тост за гостьей», подмигнул он Гуле; Гулю бросило в дрожь, в краску, в пот, «я не знаю тостов», прохрипела она в панике. Зоя пришла ей на помощь.

– Гуля пока не освоилась; если никто не против, тост могу сказать я.

Виктор против не был, Гуля тем более. «Хорошо, – засмеялась Зоя, хитро глядя на художника, – надеюсь не посрамить семейной чести...» – и прочитала, чуть-чуть подчеркнуто подражая брату, почти пародируя (Виктор нахмурился, простодушная Гуля ничего не заметила):

...Наполни кратеры вином и подай с ним
Чаши гостям, чтоб могли громолюбцу Зевесу, молящих
Странников всех покровителю, мы совершить возлиянье...
– Гомер? – вырвалось у Гули почти с отвращением.

– Гомер, – подтвердил нахмурившийся Виктор. – «Одиссея», песнь седьмая. – И глотнул рубинового вина, подавая пример остальным; Зоя, опять с пародийной дотошностью, пробормотала куда-то в сторону произнесенную им недавно фразу: «Onorate l'altissimo poeta...»

Ели в молчании; неизвестно какие причины молчать были у хозяев, а Гуле было не до разговоров – таким вкусным оказалось произведение Настоящего Художника. За считанные минуты она расправилась с содержимым своей тарелки – и с мясом (одновременно острым и сладким и настолько сочным, что во рту оно не просто таяло, а словно моментально растворялось), и с гарниром, больше похожим на очень густой суп из неопознанных Гулей ингредиентов. Расправилась, благодарно посмотрела на шеф-повара и с той же собачьей благодарностью приняла предложенную добавку. От третьей порции пришлось, конечно, отказаться – не без сомнений и не без сожалений; в общем, все трое сложили приборы почти одновременно, хотя Гуля за это время съела столько же, сколько они вдвоем.

Она откинулась на спинку стула, блаженно постанывая. Виктор смотрел на нее с интересом, и от его пристального взгляда блаженство острыми колючими струйками растекалось по всему ее телу, захватывая не только область пищеварительного тракта, но и сферу тракта мочеполового. Он явно ждал от нее дифирамбов своему кулинарному искусству – а Гуля, к сожалению, была не приучена произносить изящные комплименты. Она только тупо улыбалась да тарасилась на него так же пристально, отбросив стеснение; тот же бес кокетства, что обуял ее за скромным деревенским ужином, овладел ею и теперь. Нет, не тот же: тот был мелким хулиганистым бесенком, этот казался (или оказался) демоном. Демоном с большой буквы; ведь сейчас на нее смотрели очи Художника, куда более достойные стать зеркалом Прекрасной Дамы, чем равнодушные глаза «интеллигента» Толика или злобные пьяные Пупины зенки.

Но что это?.. нет, она не ошиблась; точно. Поглощенная поглощением пищи богов, она не заметила – и только сейчас обратила внимание, чем именно был поглощен Настоящий Художник, поглощенный поглощением пищи богов. От какого-то поглощения то и дело отрывался, чтобы левой рукой (Виктор – левша; эта подробность доставляла Гуле какое-то мучительное удовольствие: личность, столь поразившая ее неискушенное воображение, ни в чем не могла походить на простых смертных) взять лежащий рядом, загодя приготовленный карандаш и черкнуть несколько штрихов в лежащем рядом, загодя приготовленном блокноте. Теперь же, когда он закончил есть, это попутное занятие осталось основным и единственным. При этом свой внимательный взгляд он отрывал от Гули только затем, чтобы направить его в блокнот, словно сверяясь: правильно ли он записал произнесенные Гулей слова?.. (а Гуля еще и слов-то никаких не произнесла...)

Какой ошеломляющий и вдохновляющий вывод напрашивается сам собой, даже если ты и без того не самая умная в мире женщина, а тут еще и окончательно мозги растеклись – от усталости, от съеденного и выпитого, от мерцающих в полумраке огней и соседства Настоящего Художника? Настоящего Мужчины?..

– Что вы рисуете? – спросила Гуля, кокетливо играя бокалом с кокетливо играющей в нем рубиновой влагой.

– Не что, – поправил он мягко. – Кого.

– И... кого? – сердце ее сжалось. И что-то еще сжалось внутри. Не желудок и даже не поджелудочная, но что-то в животе и ниже желудка. Гораздо ниже.

– Угадайте, – сказал Виктор, кокетничая в тон ей. В искусстве флирта Гуля была искусшена не лучше, чем в любых других искусствах – и все же была готова поклясться, что он с ней заигрывает. Именно об этом, сама себе не смея в том признаться, мечтала она под зазорные рулады королевы оперетты... но когда явно несбыточные, томные и томительные, больше похожие на зубную боль чем на грезы мечтания начинают вдруг неким подразумеваемым контуром проступать сквозь суровые тенета реальности, – это может показаться таким невероятным, таким фантастическим и пугающим, таким... что просто никаким. Гуля никакая сидит; совсем отупела и, не к столу будет сказано, опупела (ау, Пупа); радоваться и волноваться нечему: не «нечему радоваться» в том смысле, что нет причин радоваться или волноваться, а в ней самой нечему это делать. Нет в ней самой ничего, что могло бы откликнуться радостью или волнением – она пустая. Никакая...

Зоя, как обычно, ринулась на выручку.

– Кончай девчонку шугать, – сказала она – может, чуть резче, чем Гуле хотелось бы. – Видишь же – совсем потерялась.

– Чем я ее шугаю? – огрызнулся Виктор.

– А то сам не знаешь. Не для детей природы твои люциферские многозначительные улыбочки.

Виктор, видимо, в итоге согласился; во всяком случае, рожу попроще сделал. (В Гуле, за пару секунд до того совсем никакой, зародилось и рвалось в рост семя обиды на Зою, так не вовремя вмешавшуюся.) «Я рисую вас, мон анфан», сказал художник миролюбиво, и она забыла про обиду. Почти забыла – но он добавил без паузы: «Люблю, когда у людей хороший аппетит», и обида вспыхнула с новой силой. Уже на Виктора. Какая гадость. С его-то тактом, с его манерами и воспитанием – разве не мог он сказать «люблю хорошеньких женщин» или, на худой конец, «люблю хороших людей» вместо того чтоб признаваться, что его моделью Гуля сподобилась стать лишь в силу его пристрастия к обжорам. Гуля отвела глаза: ей не хочется дать хозяевам заметить, как изменилось ее настроение, а главное – понять причину такой перемены. Виктор еще внимательней на нее посмотрел. «Предупреждая вашу просьбу, – сказал он, – сразу отвечу: нет, пока не покажу. Может, чуть позже – сейчас это даже не набросок, а набросок наброска.» Гуля поморщилась. Ну и самоуверенный же типус; какой там такт, какие манеры – разве она собиралась о чем-то его просить? (она-то собиралась, но он об этом – откуда мог знать?) «Посидим, отдохнем, – говорил в это время Виктор, – сейчас уже и чай пить будем, или вы предпочитаете кофе?» «Кофе», кивнула Гуля. Обычно она пила чай, но бросить небрежно «кофе» показалось ей более соответствующим ситуации. «Хорошо, мы будем чай, а вас я угощу отличным кофе.» – «Тогда мне тоже чай», исправилась Гуля: если уж эти аристократы не гнушаются чая, ей тем более ни к чему изменять своим привычкам.

– Замечательно. – За что ни возьмись, подумала Гуля с раздражением, все у них или «отлично», или «замечательно»... а Виктор уже встал и, понятно, первым делом за свой игрушечный столик-тележку схватился – он, похоже, без него вообще никуда, как кенгуру без сумки. Гуля не просто сытая – объевшаяся, и не просто опохмеленная – захмелевшая, и не нужны ей ни «отличный» кофе, ни «замечательный» чай: ей нужно, чтобы Виктор не носился туда-сюда с этим дурацким столиком, как кенгуру с сумкой или дурак с писаной торбой, а сидел рядом и смотрел на нее тем пристальным взглядом, от которого колючими острыми струйками растекается по телу блаженство. И чтобы рисовал ее – а Гуля уж постарается, в виде ответной любезности, выбросить из головы ту неблагоприятную причину, в силу которой она сподобилась стать его моделью...

Но он уже вышел. Снова вышел, снова нет его рядом, ну что ты будешь делать.

Нужно было что-нибудь сказать: не стоит давать Зое повод думать, что Гулю оживляет лишь присутствие Зоино брата, а его отсутствие превращает ее в безмолвную мумию; но Гуля не нашлась что сказать, поскольку лишь присутствие Зоино брата оживляло ее, в отсутствие же его она в безмолвную мумию превращалась. Зоя тоже молчала, меланхолично пощипывая тонкими, нервными пальцами тонкие нервные губы. По счастью, отсутствовал Виктор недолго. Вместе с ним приехали, разместившись на плоской поверхности неизменного транспортного средства: расписанный алыми маками высокий пузатый чайник с кипятком и точно такой же, только поменьше – заварной; конфетницы с конфетами, печеньицы с печеньицем, вареньицы с вареньицем... помимо того – брус арктически-холодного и антарктически-твердого, как вечная мерзлота, желтого словно желток сливочного масла в расписанной алыми маками фарфоровой масленке и три расписанных маками чайных пары.

Виктор разливал чай так, словно дирижировал невидимым оркестром, исполняющим неслышимую музыку сфер; это было красиво и необычно, а вот сам чай совсем не отвечал принципу «не подка-чай». Гуля любила хорошо заваренный и обильно подслащенный «купец» – а это разве чай? Мочай в лучшем случае, если не просто моча: спивки какие-то водянисто-желтоватые с робко плавающими, словно вспугнутые рыбки, бледными чайнками. Что, у аристократов нынче в моде – на заварке экономить?.. – она набралась дерзости попросить: «Можно покрепче?»

Зоя повела плечами в обычной своей меланхоличной манере, Виктор, ни слова не говоря, подлил из заварника в чашку Гули – только пошло в ее чашке так и осталось водянисто-желтоватым. «Я крепкий люблю, – капризно и беспомощно протянула Гуля. – Чтоб совсем темный, почти черный.»

– Мы черный не пьем, – сказала Зоя, оправдываясь. – Мне как-то все равно, а Витя черный не любит... мы его не пьем, не покупаем даже. Витя у нас любитель – у него желтые сорта есть, зеленые, белые: этот, например, зеленый... – «Зеленый в композиции с белым, – поправил Виктор. – Знаменитая „Зеленая обезьяна“ из провинции Фуцзянь. Обычно из зеленых я предпочитаю „Снежный барс“; это довольно редкий и любопытный сорт... но и „Обезьяна“ по-своему хороша, не правда ли?» (ох, скажи еще настоящая обезьяна! отличная скажи! замечательная! Отличное, замечательное, настоящее желтовато-водянистое пойло с бледными чайниками!.. – Гуля сама не ожидала, что такая ерунда так ее заведет; напряжение долгих предыдущих часов начинало сказываться, давая реакцию; возможно, присутствовало и желание показать и себя не просто обжорой, все что угодно готовой в себя впахнуть, – но человеком, тоже кое-какие симпатии и антипатии в еде имеющим... – наивной Гуле было пока невдомек, насколько смешон и неконструктивен избранный ею способ чуть приблизиться к недавно обретенным кумирам.)

Но делать нечего – «купчика» ей сегодня никто не предложит. С горестным вздохом Гуля придвинула к себе чашку и огляделась в поисках сахарницы.

Вот те здарсьте. Новый сюрприз или Виктор просто забыл принести сахар?

– Что-нибудь еще? – спросил он с беспокойством. Голосом, звенящим от негодования (беспокойство в его голосе приятно будоражило, и особенно приятно будоражило негодование в собственном голосе), Гуля отозвалась: «Сахар...» Хозяева переглянулись почти затравленно, и Виктор вскочил. «Сахар на кухне; обычно мы пьем без сахара. – Он замаялся. – Если вам не нравится зеленый... может, все же лучше кофе? Я мигом.»

– Кофе, – кивнула Гуля, теперь – совершенно искренне. Уж лучше кофе, чем этот мочай, который никаким сахаром не спасти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.